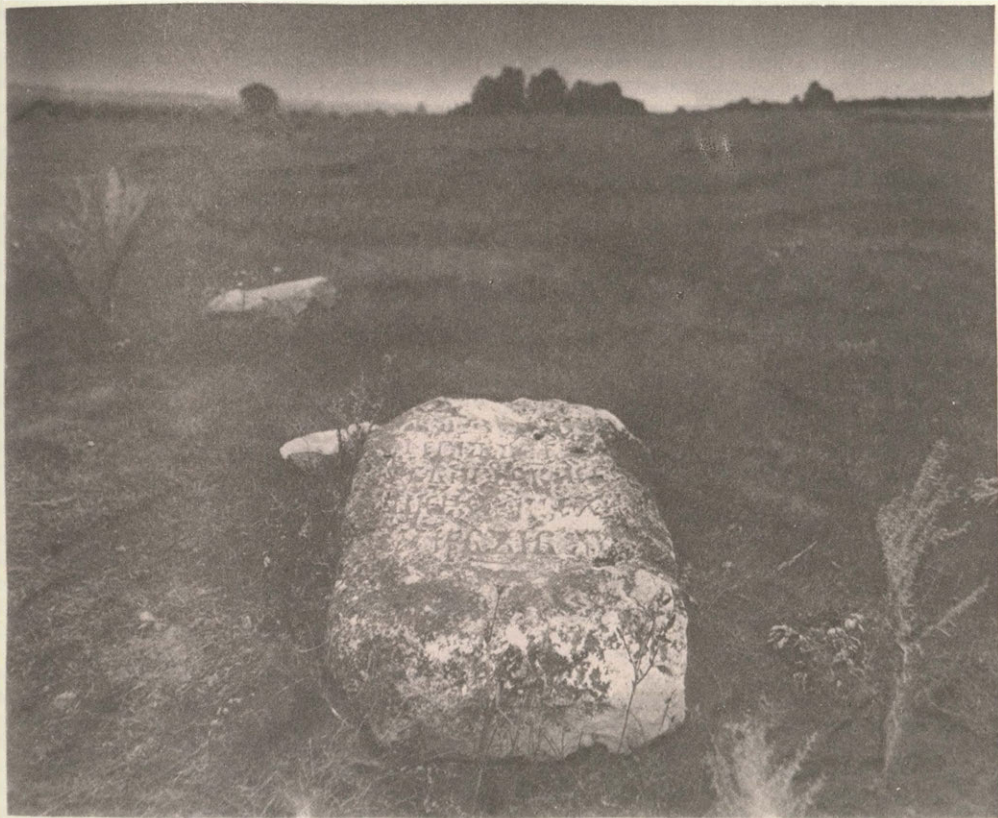


Юрий Лоциц,
писатель

Сохраняя лучшее



I

Нередко вспоминаю свою командировку в село Желанное Шацкого района Рязанской области. С формальной точки зрения она, эта командировка, не удалась: материала, достаточного, чтобы написать о поездке, я тогда не собрал. Не собрал, правда, по не зависящей от меня причине.

Предстояло знакомство с замечательным сельским педагогом, ученым-этнографом, активистом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Николаем Илларионовичем Паниным. В его домашнем кабинете мы долго беседовали, стоя возле большой, чуть не во всю стену гидронимической карты. Николай Илларионович исследует названия рек и озер срединной России; его то-

понимическим изысканиям помогает, в частности, то, что сам он по национальности мордвин, а в названиях наших рек, как известно, немалая доля принадлежит именам финно-угорским. Мы говорили о том, почему, какими судьбами сохранились эти древние названия, — такая ведь архаика! И согласились на том, что, помимо прочих объяснений, нужно иметь в виду и такое: названия эти не просто пришли на слух поселившемуся здесь славянскому большинству; тут заявляло о себе и уважение к соседней культуре, традиции. Неро, Ней, Рокша, Печегда, Нерехта, Нерль... Имена эти понравились своей поэтичностью, они вошли в речевой обиход, как прочные, не знающие износу вещи, как добрая весть из других веков.

Побывали мы с Паниным и в школе, где он директорствует, осмотрели просторные залы, отведенные под экспозицию минералов. Музейная эта коллекция известна, кстати, многим ученым, она давно уже переросла уровень любительской.

Затем Панин показал мне два непривычной формы сооружения под деревянными навесами — печи для обжига большеразмерного кирпича — тоже его школьная затея.

Но вот стройку, на которую отвозят этот нестандартный кирпич, увидеть мне не удалось — не пустили нас туда дороги, вконец размытые прошедшими накануне ливнями. И всего каких-то полтора десятка километров, а попробуй одолей их! Никакая техника не доставит сейчас в Старо-Чернеевский монастырь, а как хотел Николай Илларионович показать гостю свою главную заботу последних лет. Там ведется реставрация целого архитектурного комплекса, он же при этом — общественный организатор, работодатель, прораб, наконец, будущий хозяин всех жилых и нежилых помещений, в которых предполагается разместить новую школу, минералогический музей, этнографическую экспозицию и историческую тоже.

Попробовал было Панин прощупать дорогу до Старо-Чернеева на своем мотоцикле, но и этот редко когда подводящий его конек с разлету увяз в грязи где-то на выезде из Желанного. Можно было утешиться разве лишь разглядыванием нескольких любительских фотографий с изобращением реставрируемого и уже восстановленного. Но мне-то именно на самом месте хотелось побывать, походить под старыми сводами, полазить по лесам, слушая панинские объяснения, потому что, я был уверен, еще многими сторонами своей незаурядной природы открылся бы там этот человек.

Одним словом, без Старо-Чернеева писать я не мог, не имел права. Значит, не судьба, значит, еще как-нибудь надо мне собраться в Желанное. И тогда еще раз пройду пешком по длинной-длинной сельской улице — от околицы до директорского дома и потом до школы — и буду здороваться негромко и неторопливо с каждым встречным — с незнакомыми мне детьми, взрослыми, стариками.

Да, да, именно эта возможность так меня породовала в тот приезд, я даже Панину потом сказал:

— А знаете, что еще славно у вас в Желанном? То, что все соблюдают этот старинный обычай — здороваться на улице с незнакомыми.

— Ну это у нас каждому, можно сказать, с молоком матери передается... Это все равно что дышать. Да и не только у нас одних.

Я тоже знал: не только. И владимирские крестьяне так же поступают, и костромские, и ярославские. Да и с детских лет помню: в украинских селах такой же обычай существовал. Идешь, бывало, утром по улице, а тебе навстречу чужие дядьки и тетки, на базар спешат, из соседних сел, и каждому ты скажешь непременно: «Добрый ранок!» или «Добрый день!» — и тебе отвечают, без снисхождения, как равному, и ответом своим ободряют тебя, как бы хвалят и просят: расти и дальше таким и не заблудишься между людей. И ты вышагиваешь дальше и думаешь про себя: какой я молодец, что не постеснялся, поздоровался, и какие они хорошие, эти дяди и тети, и, наверное, мне не чужие, если я к ним обращаюсь, как к своим родным...

Посожалели мы, однако, с Николаем Илларионовичем: грустно, что во многих сельских местах это древнее и недавно еще повсеместное правило приветствовать друг друга, не различая, знакомы или нет, как-то выветривается из обихода.

И позже, вернувшись из Желанного, гораздо чаще, чем о своей неудавшейся командировке, вспоминал я о том, как здоровался на его улице с людьми и они ничего обо мне не знали — кто я, что я, откуда пришел, чей гость, хорош ли, плох... Казалось бы, много ли весит эта крупца взаимного человеческого доверия и внимания, но за ней прглядывает для меня нечто гораздо более значительное, нечто *лучшее в человеке*.

Что это такое — «лучшее в человеке», как я себе его представляю?

Мы часто говорим: ответственность, чувство ответственности. А говоря так, подразумеваем свою ответственность за судьбы нынешних поколений, за жизнь наших современников и — за судьбы поколений грядущих. Но не менее важна и другая временная направленность этого чувства. Ибо реальна, существует в природе вещей и ответственность перед поколениями, уже отжившими, перед теми, кто передал нам доброе слово, прочную вещь, полезный навык, заветы нравственности, красоты, пользы, а в целом — великие духовные и материальные достояния народотруженика. И эта наша вторая ответственность по-своему не менее осязаема и конкретна, чем ответственность перед ликом завтрашнего мира. Ведь речь тут идет не о предпологаемых, ненародившихся еще сонмах людских, но о тех, чьи судьбы уже состоялись, чьи лучшие чаяния в той или иной мере воплотились. Вряд ли стоит говорить, что оба эти рода ответственности равно необходимы, насущны, не заменяют и не исключают друг друга. Потому что мы народились в мир не только для того, чтобы непрестанно получать, просить, требовать готовых ответов. Мы и сами должны научиться отвечать — без обиняков и по существу, — отвечать за свое и за переданное нам в наследство.

Сколько ни живешь, не устаешь удивляться способности человека к совершенствованию. Эта способность, может быть, в наибольшей степени отличает нас от мира животных, которые стеснены жесткими рамками заданных природой инстинктов. Человек же — за сравнительно короткий свой век — способен

одолеть, причем в акте свободного волеизъявления, без посторонней подсказки (или дрессировки), высочайшие пики культуры, главное же, достичь поразительных высот нравственного совершенства. (Уж не говорю сейчас о колоссальных возможностях человека в деле технического переоборудования своего земного и околоземного бытия.)

Но это не было бы возможно, если бы всякий человек — и всякий раз — начинал с нуля. Его способности к совершенствованию осуществимы благодаря нравственному труду множества поколений предшественников. Вот это я бы назвал *лучшим* — то, что в мире нравственности существует до нас, для нас и возобновляется в нашем личном и общественном опыте, чтобы остаться и после нас. Увы, может получиться так, что кто-то проживет (будучи свободным в своем выборе), почти не соприкасаясь с *лучшим*. Но это уже, так сказать, не вина, не его изъян лучшего. Оно ведь от нас не скрыто, не скрывается за семью печатями. Это лишь мы можем делать вид, что не замечаем его. В итоге мы понесем личный урон, оно же пребудет, хотя тоже не без некоторого ущерба для себя, потому что его составу надо бы возобновляться, проходя через сердце каждого из нас.

Как известно, у нравственных законов, за редкими исключениями, нет первооткрывателей или изобретателей. Верней, они есть, но это не частное лицо, ибо имя ему — Народ. Трудовой народ в своем историческом шествии. *Лучшее* — в таком контексте — выступает как завоевание и достойное трудящегося человечества. Оно не абстрактно, ему свойственна четкая социальная выразительность, оно сущностно противопоставлено ухищрениям тех социальных групп и кланов, которые бы хотели на нем паразитировать.

Народное по природе своей, а не элитарное, оно существует не для избранных. Оно не придумывается и не высживается в кабинетах мудрецов, не фабрикуется в мозговых трестах, но полнится энергией в гуще трудящегося люда.

Видимо, никто из жителей села Желанного не смог бы ответить мне точно, откуда именно возникла привычка здороваться с каждым встречным на улице. Он с детства видел, как делали это другие люди, и учился, скорее всего, сам, а не по суровому внушению или окрику. Но ведь так же, сами, учились и его родители, и деды, и так далее. *Лучшее* дается нам как бы даром, с полнейшим бескорыстием, как улыбка матери, как ласка отца. Нет науки легкой и плодотворной.

Но, к сожалению, и отучивание от *лучшего* в области нравственного опыта происходит подчас столь же легко. К примеру, подросток, молодой человек из деревни, впервые попал в большой современный поселок или в районный центр, поздоровался при встрече с одним, другим незнакомцем, ему не ответили или посмотрели на него с недоумением, а кто-нибудь еще и хмыкнул насмешливо. А попади он в большой, в громадный город, тут ему и по-прежнему станет ясно, что привычка здороваться с каждым незнакомцем нелепа, смешна и нужно как можно скорее от нее, этой «глупой» «простонародной» привычки, навсегда отвыкать.

Я тоже, как правило, в большом городе ни с кем «чужим» на улице не раскланиваюсь.

В этом смысле город еще как бы и старается нас обособить. Право же, нас так много тут, нам то и дело так бывает тесно, мы все так спешим, мы так быстро устаем от одного лишь вида окружающего нас и теснящего людского множества... Но в то же время я понимаю, как, видимо, понимает и большинство горожан, что с точки зрения *лучшего* в человеке мы, не здороваясь с незнакомыми людьми, вынуждены поневоле поступать против своего человеческого естества. Большинство населения Земли на протяжении тысячелетий обитало по преимуществу в малых социумах, не испытывая нравственных затруднений от перенаселенности. Мы же в этом отношении оказались в обстоятельствах чрезвычайных, своего рода экспериментальных. Тут поначалу не мудро и растеряться, растерять кое-что из своего *лучшего*.

Однако вот я выехал за город, вот бреду не спеша лесом или лугом с какою-нибудь незатейливой корзинкой в руке, вот шествует мне навстречу человек, впервые в жизни вижу его, никогда, наверное, больше не увижу... Что же, так и разминемся, будто враги, хоронящиеся друг от друга? Потупясь, молчком, прибавив шагу? Нет, все мое и его существо восстает против такого безнравственного молчания. Нам непременно, как воздуха глотнуть, нужно пожелать друг другу здоровья, доброго дня, поговорить о чем-нибудь хоть минуту.

«Например, о погоде», — пошутит иронически настроенный читатель. Впрочем, отчего бы и не о погоде? Поговорим и о ней. И не потому вовсе, что нам сейчас не о чем больше разговаривать, что у нас нет иных, более важных тем. Просто это тоже очень древний обычай — обмениваться при встрече вестью или мнением о погоде. Она ведь для человека, живущего в природном окружении, в постоянном волнении о хлебе насущном, — предмет почти неуспынного внимания, с нею в жизни человека земли связаны ежегодно и ежедневно самые главные события. Как же не потолковать нам о погоде, как не пожелать, чтоб устанавливалась она хорошая либо сохранялась благоприятная. Наша встречная здравнца распространяется тем самым не только на нас двоих, но и на весь этот день, чтобы он был добрым для нас, для всей окружающей нас земли, а в конце концов и для всего природного космоса. Так неужели эта малая и недостойная тема?.. Не зря же потом, уже расставшись, идешь и ловишь себя на том, что ты улыбаешься, что растроган пусть мимолетной, но не напрасной встречей с другим человеком.

Однажды я прочитал у Михаила Пришвина строки, поразившие сходством с моим личным переживанием, и с тех пор не устаю их повторять: «Ни за что в мире не отдам это счастье интимного общения с незнакомым русским человеком, как с родным» (Пришвин М. Незабудки. М., 1969. С. 147).

Как ответственно сказано: «Ни за что в мире». И ведь сказано, разумеется, не только о «паспортном» русском человеке.

Казалось бы, нравственная сфера людских отношений необъятна, наше *лучшее* неизменно, не выглядит ли взятая мною тема на фоне этой необъятности песчинкой, затерянной в море? Но мы ведь знаем: в этом мире «великие» и «малые» величины связаны теснейшими узами. Представим себе: не поздоровались утром два соседа. По рассеянности

ли, по досадной невнимательности, настроение ли у того и у другого со сна не лучшее. Но вот не поздоровались, и настроение вообще испортилось — на целый уже день, и хорошо, если одним лишь днем все ограничится. Подумать только — не обменялись двумя-тремя привычными словами, а нет уже простоты, нет лада, нет покоя, взялись мыслишки какие-то сердце подтачивать, потом и подозрения начали наворачиваться, и недовольные засверкали взгляды, и первой оскорбительной перебранкой ожгли воздух... Безусловно, распря может возникнуть и из-за иных, глубоко сидящих причин, но как часто мы именно на мели застреваем, с самым «малым» не управившись!

Среди множества специальных словарей существуют сейчас и так называемые частотные. Их цель — выявить и описать частоту употребления слов основного словарного фонда того или иного языка. (Имеется в виду, конечно, письменный обиход, литературная речь.) Если бы мы представили себе фантастическую возможность создания частотного словаря нашей устной речи, то, уверен, слово «здравствуй», другие слова, обозначающие приветствие, стояли бы там на самых первых местах, как наиболее часто применяемые в житейском обиходе. Не зря, наверно, и в иноязычных разговорниках на первом месте стоят слова и выражения, обозначающие приветствие — утреннее, дневное, вечернее, пожелание хорошего настроения, удачи, успеха, счастья, радости, спокойной ночи, удивление по поводу того, что не виделись сто лет, целую вечность...

Наше *лучшее* открывается с этой ступеньки. Так мы осознаем, что человек — в идеале своем — *существо, открытое* для всех иных человеческих «я». Привычнее «здравствуй» является нам как первая буква в алфавите нравственного минимума личности при ее взаимоотношениях с соотечественниками, иностранцами, единомышленниками или людьми иных убеждений, взглядов. Кто бы они ни были, мы начинаем общение с этого минимума, с открытости и доверия: мы желаем им здравствовать. Несмотря ни на какие «но»... Верней, с внутренним учетом этих разделяющих нас преград, но со светлой обращенностью в завтра, с ясной и твердой надеждой, что преграды когда-нибудь обратятся в прах, а чтобы дожить до тех пор, нам всем и понадобится недюжинное здоровье — и физическое, и перво-наперво духовное.

II

Грешно разбрасываться даже малыми крупицами того *лучшего*, что унаследовано и приобретено человечеством на его долгом и мучительно трудном историческом пути. Наш соотечественник, украинский философ XVIII века Григорий Сковорода любил говаривать: «Будь сыт одной ядью», «Мало читать, много жевать», — разумея под этим сложность и глубину, казалось бы, самых простых, прописных нравственных истин. Действительно, чем доступнее для нашего обозрения многовековые запасы нравственности, тем очевиднее, что в этой области совершенно новое удавалось и удается сказать чрезвычайно редко.

Историческое бытие древних народов и государств породило великое множество нравственных узаконений, предписаний, запретов, выразивших те или иные этапы становления гуманистического самосознания. Среди наиболее универсальных табу мы в любом из этих кодексов найдем категорическое запрещение убивать, лгать, воровать, поклоняться ложным богам, предаваться разврату и т. д. В том или ином словесном оформлении эти законодательные предписания существуют и поныне. Кажется, это ли не повод для того, чтобы впасть в уныние? Действительно, как же так, в течение тысячелетий человечество кропотливо отбирало и копило лучшие семена нравственной мудрости, а сорняки в изобилии процветают до сих пор. Раздражаемое классовыми противоречиями, сотрясаемое войнами — от мелких пограничных стычек до глобальных нашествий во главе с прегордыми «покорителями мира», — обуреваемое соблазнами стяжательства, идолослужения, человечество на протяжении длительных эпох оказывалось не в силах решить и самые, казалось бы, элементарные нравственные задачи.

Я не оговорился: элементарные. Недостаточность, историческая ограниченность перечисленных узаконений древности в том, что они безличны («нельзя делать того-то и того-то») или же направлены на другого человека: «ты не делай того-то или делай то-то».

А как же с моим я? Об этом речь не ставилась. Принималось сразу за должное, что со мной, с моим я все заведомо благополучно. Но так ли? Многие века понадобились для того, чтобы усомниться в этическом совершенстве подобной позиции.

В самом центре Москвы, недалеко от Старой площади, под сводами прекрасного памятника древнерусской архитектуры XVII столетия экскурсант может разглядеть настенную роспись со следующим, вроде бы не вполне реалистическим, сюжетом. Некий человек показывает пальцем на другого человека, в глазу которого торчит соломинка. Но сам этот показывающий, странное дело, не замечает, что и у него в глазу кое-что торчит, причем это кое-что гораздо больших размеров — целое бревно. Такова иллюстрация к старинной притче, необыкновенно популярной в средние века, впрочем, известной многим и в наши времена. Вот тут уж обрисована нравственная задача куда более трудная, чем, допустим, повеление не воровать. Как научиться, замечая чей-то недостаток, оглядываться сразу и на себя: а не водится ли и за мной такого или еще большего? Я кого-то обвиняю в некоем проступке, а сам? Как научиться сначала свое худое замечать, а потом уже предъявлять требования к другому?

Каждый день мы вслух или про себя выносим десятки приговоров своим ближним: тот грубиян, тот зачитал чужую книгу, та слишком легкомысленна, тот чересчур самолюбив, горд, заносчив, тщеславен, глуп, та без конца носится со своими претензиями, тот лентяй и невежда, тот слишком умничает... Мы то и дело перемываем кому-нибудь косточки, обсуждаем кого-то и осуждаем, постоянно держим руку на весу, указывая на чью-то торчащую соломинку. Но есть ли хоть один из перечисляемых нами чужих недостатков, который бы — в большей или меньшей

степени — не был свойствен и нам самим? Вот когда задумаешься о громадности необходимой в этой связи каждодневной, ежечасной самоочистительной нравственной работы, поневоле указующий перст начнет опускаться.

А может, и соломинки-то у него нет, и все дело лишь в дефекте моего собственного зрения? Так не начать ли с другой стороны, не научиться ли искать *лучшее* в другом и это *лучшее* прививать себе? Даже в самом с виду неказистом человеке непременно есть что-то из лучшего, пусть он и сам его в себе не различает, не ведает ему цены. Но стоит лишь подсказать ему, как он начнет крепко держаться за свое лучшее, словно за спасительную соломинку. Но согласимся, что соломинка эта уже совсем другого рода. Сколько великих педагогов свидетельствовало нам о целительности подобного подхода к человеку!

Снова вспоминается Пришвин. Есть в его многолетних дневниковых размышлениях постоянная тема, никогда ему, видно, не дававшая покоя, — тема «родственного внимания». *Внимать*, как известно, означает чутко слышать, улавливать, воспринимать; по Далю — «усваивать себе слышанное или читанное».

Но внимание — не только разновидность понимания, не только один из актов познавательной деятельности человека. Внимать — это как бы из чужой души бережно вынимать что-то и с благодарностью обнимать это дарованное своей душой. Отсюда и пришвинская оценка — «родственное». Внимая кому-то, мы словно порождаемся с ним, с его *лучшим*. Но как трудно быть по-настоящему внимающим, внимательным! Как часто мы рассеиваемся мыслями, не слышим того, что говорят нам самые ближние, как часто глухи к чужому бессловесному переживанию. Уже и тому рады, когда подлинного нашего внимания хватает одновременно на двух, ну на трех человек. А дальше? Увы, на глазах идет оно на убыль. Подумаешь об этом и загрустишь поневоле: какое же я еще дитя в школе совершенствования.

Нет, внимание — не дар богов, его нужно в себе терпеливо выращивать, ежедневно подкармливать слабые и тщедушные пока ростки. И не поддаваться самообольщению, хотя поощрить себя так иногда хочется. Спешнись, к примеру, на почту под Новый год и чуть ли не подпрыгиваешь от радости: как же, ты ведь сегодня десятка три открыток с праздничными поздравлениями разошел в разные концы страны. Но чем загружаем мы в подобных случаях нашу безропотную почту? Увы, праздничные наши депеши, несмотря на красочность самих открыток (тут сейчас целая индустрия трудится), как правило, уныло безлики: всюду одни и те же стандартные пожелания. И так из года в год, от нас и к нам. Конечно, и такие открытки, когда их получаешь, приносят маленькие радости: все-таки помнят тебя, не забывают. Но радости именно на миг, на минуту. Потому что слишком мало в этих поздравлениях личного, подлинно сердечного. И не случайно если письма мы храним годами, то открытки мало кто бережет по долгу в своих семейных архивах.

Письмо как школа человеческого внимания, как разновидность подлинного искусства... Не торопимся ли мы расстаться с этим способом общения, одним из древнейших? Всякий из нас по личному опыту знает: в

письме, как таковом, содержится мера душевной открытости, доверия и внимания к собеседнику, которых людям, даже близким, далеко не всегда удается достичь в устном разговоре. Вспомним, какую особую смысловую нагрузку несут в пушкинском «Евгении Онегине» всего лишь два письма — Татьяны к Евгению и обратное, его к ней.

Письмо требует от пишущего и полной искренности, исповедальности, — именно на такого рода переписке двух молодых людей строит всю композицию своих «Бедных людей» Достоевский.

Письму доступен и высокий публицистический накал, доверительность тона счастливо уживается в нем с самым широким охватом общественных вопросов, с философичностью, когда автор смело высказывает свое сокровенное одному человеку, но как бы и сразу многим, даже рискуя ошибиться, попасть впросак. С таким вот самоощущением общественного риска создавал свои «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголь.

Наконец, письмо обязывает и к достаточной подробности изложения — в отличие от записки или от той же открытки. Обстоятельный, неспешный, входящий во все подробности разговор на бумаге с заочным собеседником — что мы, собственно, и называем письмом — помимо всего прочего, вселяет в этого собеседника чувство незыблемости жизненных оснований. Долго не получая писем, он испытывал понятное всем волнение, а теперь отдаленная пространствами жизнь другого человека становится для него достоверно-близкой, будто пропущенной сквозь «магический кристалл». Всякое такое получаемое нами письмо как бы отвоевывает у неизвестности твердую, ярко освещенную область достоверности. Именно такого рода обстоятельнейшие письма прекрасно умел писать автор «Фрегата «Паллада». Вспомним, что многочисленные письма, которые Гончаров во время своего кругосветного плаванья отсылал друзьям из самых разных уголков мира, как раз и послужили для него основным материалом при создании знаменитой книги.

Вообще XIX век можно назвать веком классического русского письма. Люди той эпохи будто сговорились вылить в письмо как в форме человеческого общения все его возможные достоинства и преимущества, все разнообразие смысловых наполнений — от сердечной лирики и бытовой теплоты до полемической страстности, идейной насыщенности.

Но что же нам теперь остается: с грустью признать, что время письма безвозвратно миновало? Что первородство письменного общения мы бездумно променяли на чечевичную похлебку телефонных звонков и открыточной скорописи? Я, конечно, тут неоригинален: вздохи сожаления по поводу того, что письмо как вид общения заметно потеснено, раздавались неоднократно. Но меня больше волнует даже не убыль, отчасти извиняемая ускоренным темпом нового времени, а стоящая за нею утечка родственного внимания человека к человеку.

Разучились здороваться с незнакомыми людьми, разучились писать близким и знакомым... Меня, пожалуй, легко упрекнуть: так-де можно дойти и до обывательского брюзжания — прежде-то, мол, все было не в пример лучше нынешнего. Ож уж эта носталь-

гия по безвозвратно ушедшему; ох уж эти утопии, погрязшие в том, что навсегда миновало!

Но в том-то и дело, что, как приглядишься, «навсегда» и «безвозвратно» уходит далеко не все, и очень даже помалу уходит. Как бы ни воспитывалось, как бы ни научалось наше сознание беспрепятственным явлениями новизны, нововведений, новаторства, всевозможных новшеств, но, как приглядишься, любая почти *новь* перекликается, аukaется со *вновь*. Историческое эхо — феномен упорный и упрямый, можно сказать фундаментальный. Право же, полюбуемся: наши женщины в зимнюю пору щеголяют в меховых шапках такого же фасона, какой был принят у их прапра...бабушек во времена княгини Ярославны или боярыни Морозовой. Известное дело, моды капризные и прихотливы, но вот пример из другой, по-настоящему серьезной области: в современном государственном-политическом и дипломатическом лексиконе мы успешно пользуемся такими архаическими словами и понятиями, как «чрезвычайный и полномочный посол», «верительная грамота», «договор», «совет старейшин», «государство», «отечество», «наказ», «служба», «присяга», «руководство», «председатель», «палата», «съезд», «глава», «знамя», «стяг», «клятва», «верность», «призыв», «вождь», «указ», «законодательство», «священная война», «вечная память», «предвидение», «гражданин», «доблесть», «власть», «правительство», «столица», «собрание»... Можно приводить еще десятки и даже сотни такого рода «высоких» значений, не потерявших своего смысла и своей весомости, важности в течение многих сотен лет.

Живя на исходе XX столетия, мы — в известной степени — продолжаем жить и в глубокой древности, потому хотя бы, что для нас и при нас существуют столичный Кремль, многочисленные архитектурные памятники более отдаленных эпох. Далее, мы современники выдающихся возрождений старины из праха и забвения, идет ли речь о «Звенигородском чине» Андрея Рублева, или о восстановленном из руин дворце в Павловске, или о расшифровке нотации песнопений времен Ливонской войны и Полтавской битвы.

Личная это наша заслуга или особенность переживаемой эпохи, но в своем восприятии культур-предшественниц мы оказались в гораздо более счастливом положении, чем, допустим, современники Пушкина. *Прошлое* человечества — в силу совместных и однонаправленных усилий простой человеческой любознательности, родственного внимания, научной дотошности — раскрылось, раскрывается людям XX столетия в куда большей полноте общего обзора, чем кому бы то ни было. И в этом смысле оно, прошлое, не проходит. Остаётся вещь для нас.

Наш современник сегодня *волен* сказать свое доверчивое «здравствуй!» великому множеству возрожденных к жизни «незнакомцев» — произведений искусства, памятников истории, а значит, отдать дань благодарности целому сонму людскому — тем, кто созидал, строил, воплощал, оберегал и приумножал в том или ином материале немеркнущую красоту.

Равно доступно нашему современнику стоять под сводами Софии Киевской, любящая мерцанием дивных мозаик; листать тяжелые

пергаментные письма рукописных фолиантов Матенадарана; изучать охотничьи сюжеты, изображенные безвестными сибирскими художниками тысячи лет назад на прибрежных валунах и скалах; знакомиться с бережанными письмами, которыми обменивались друг с другом новгородские ремесленники и крестьяне, посадники и торговые люди, взрослые и дети во времена Александра Невского или Феофана Грека; посещать величественные мечети и минареты Самарканда и Бухары; слушать концерты и fugи Баха в исполнении прибалтийских органистов-виртуозов; любоваться травными фантазиями золотой Холломы; слушать гул степных осенних ветров, стоя на Красном холме Куликова поля...

Неиссякаема почта столетий.

С каждым годом она приносит нам все больше открытий, новых сведений, имен, мы жадно вчитываемся в эти доверчивые, избыточные трогательными подробностями «письма» из глубы времен. То очевидное обстоятельство, что «переписка» ведется лишь в одном направлении — отсюда сюда, — не должно нас смущать. Не в состоянии отвечать через века физически, мы тем не менее имеем возможность отвечать в духовном смысле — родственным вниманием к тому, что сбереглось. И этот наш длающийся ответ прошлому, ответ перед прошлым, ответ за прошлое есть очевиднейшее проявление той самой исторической ответственности, о которой уже говорилось выше.

III

Такого рода ответственность вовсе не означает, что мы тем самым идолопоклонствуем перед всем-всем-всем когда-либо бывшим. Мы ищем в прошлом только его *лучшее, идеальное*, прошедшее суровую пробу на прочность, способное служить идеалом и для нас. Этот здравый поиск не имеет ничего общего с идеализацией того, что навсегда отжило и по законам естества благополучно обратилось в прах. В старину, замечая попытки навести косметический глянец на какое-нибудь грухлявое старье, говаривали не без иронии: «гроб повапленный», то есть пестро размалеванный красками. Нам в нашем культурном и социальном обиходе не нужны такие вот «повапленные гробы». В наш обиход принимается лишь то, что и сегодня жизненно по своей сути, способно обогатить нас духовно. Неразборчивая всеядность так же вредна по отношению к историческому наследию, как и нигилистическое высокомерие. Только умная, чуткая, требовательная и выверенная избирательность способна противостоять обеим крайностям. Отправляясь на встречу с прошлым, мы не ставим перед собой задачу восстанавливать храмины, поставленные кем-то на песке. Как бы ни кичились своей высотой затеянные когда-то вавилонские башни, для нас они — лишь свидетельство исторических заблуждений и неудач, высокомерий, пустой растраты громадных человеческих сил и дарований.

При четком, идейно выверенном избирательном подходе к наследию предшествующих эпох невозможна, допустим, героизация выдающихся носителей социального зла, осно-

ванная лишь на том, что они-де яркие, «сильные» личности. Приведу только один пример. В дореволюционные годы в России была широко известна многотомная биографическая серия, которую издавал Ф. Павленков. Главным критерием при отборе персонажей для новых выпусков павленковской серии служила историческая громкость, а то даже и одиозность той или иной личности. Великое деяние в истории осмыслялось как чрезмерное, превышающее все общежитийские нормы, независимо от того, какие плоды приносит такая из ряда вон выходящая величина.

В 1933 г. при активнейшем участии Горького родился советская биографическая серия — «Жизнь замечательных людей». Хотя в начальную пору ее существования некоторая инерция безоценочного подхода еще сохранялась (биографии Талейрана, Форда, Наполеона), однако восторжествовал качественно новый принцип отношения к выдающейся личности — оценочный, избирательный. В центре читательского внимания встал человек, замечательный именно созидательной направленностью своих деяний, личность, могущая служить положительным образцом для подражания.

История отдает нам свое *лучшее* бескорыстно, даром. Но все-таки это *лучшее* надо еще и уметь разглядеть, отличить, выбрать, уметь отстаивать его и защищать. Нетребовательное многообразие в конце концов ведет к пресыщению и безразличию, а последнее уже прямо граничит с анархическим отрицательством, с неуважением ко всему, что было «до нас». Крайности, как и положено, смыкаются. Нирваническая, безадресная растворенность в прошлом так же бесплодна, как и обожествление исторической сиюминутности, известное по плачевной практике некоторых «культурных революций». Для такой левой революционности «сегодня», «сейчас», вырванные из временной последовательности, делают неким пупом земли, божком, обряжаемым во всевозможные новейшие *измы*.

Еще и еще раз уместно нам в этой связи вспомнить слова В. И. Ленина, направленные против анархического отрицательства в искусстве, да и не только в искусстве: «Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно «старое». Почему нам нужно отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно «старо»? Почему нам надо преклоняться перед новым,

как перед богом, которому надо поклониться только потому, что «это ново»?» (В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1967. С. 663).

К. Цеткин, записавшая высказывание Ленина, не случайно взяла слова «старое» и «новое» в кавычки. Ее собеседник употреблял эти понятия в их диалектической соотношенности друг с другом, в исторической взаимобусловленности. Искусственная изоляция «старого» и «нового» чревата остановкой «дальнейшего развития». Как раз во имя дальнейшего развития и необходимо сохранение исходных пунктов образцовой красоты, созданной народами на века, в противовес стихиям распада и разрушения. Ленинская мысль пронизана подлинным историзмом, избирательным и созидательным одновременно.

Слово «история», как известно, не русского происхождения. Но за многие века нашего с ним знакомства оно сильно, так сказать, обрусело и теперь резонирует для нас многими волнующими смыслами (пусть и незаконными с точки зрения этимологии). Говорим: «история», и невольно слышится: «исстари», «старина», «истоки», «истина». Если попытаться все эти смыслы соединить в цельном восприятии, то, пожалуй, можно будет сказать, что история — это, с одной стороны, сама старина, давняя и совсем недавняя, а с другой — дряхлый исстари и до сего дня рассказ о старине, об истоках человечества и его многотрудных путях к истине. Рассказ, и сам призванный быть истинным.

Подлинный историзм несовместим с позицией беспристрастия, холодного и всеядного позитивистского любопытства, когда некий каталогизатор событий воспроизводит их, «добру и злу внимая равнодушно». Брать все лучшее из своих исторических традиций — это труд, требующий от отдельного человека или от целого народа напряженной самоотдачи, родственного внимания и в «большом», и в «малом», и по отношению к «старому», и по отношению к «новому». Подобный труд предстает перед нами как один из вечных движителей истории, а сама она в своей устремленности к будущему — как грандиозное сотрудничество всего трудящегося человечества, одухотворенного идеалами справедливости, братства, свободы, красоты, добра и созидания.

От редакции.

Статья включена в книгу Ю. Лошица «Слушание земли» (Москва, издательство «Современник», 1988 г.)

